



Василь Махно

## ЧОРТКОВ

Для меня Чортков теперь — это фотографии. Более всего мне нравятся две, с осенним и зимним пейзажами.

С них я и начну.

На обеих — панорама города: величественный шпиль костела, окруженного домами, как спичечными коробками, из-за которых видны нитки дорог, машины, люди. Одна — позолочена осенними деревьями и размазанной желтой глиной воздуха, на другой — вроде подгоревший хлеб, почерневший снег на крышах тех самых спичечных коробков домов, — и это город зимой.

Я могу лишь представить себе запахи этого осеннего и зимнего города. Возможно, потому что запахи сильнее всего привязывают к месту, становясь добычей твоих возвращений и превращений, ты закрываешь глаза и нюхаешь этот хлеб памяти.

В осенней, скорее всего, выразительно пахнет дымом подожженных листьев, а падающие каштаны трескаются, разбиваясь о брусчатку старинных улиц, пахнут также бензин и солидол грузовиков и тракторов, которые перевозят картофель и свеклу на приемные пункты и сахарозаводы. Повсюду жирный запах чернозема с огородов, перекопанных на зиму, и пеленающее течение Серета, мутной реки, зеленовато отдает речной рыбой. И по-особенному пахнет железная дорога, прогретые просмоленные шпалы выделяют черную смолу, как сосна живицу. Запах золотых листков табака, ранних яблок, свежее выпеченного хлеба и хлебозавода долго висит улицами и переулками.

Зима подгоревшим хлебом снега кормит птиц, которые остались зимовать. Вороны, воробьи и городские голуби кружат над деревьями и крышами или побираются тротуарами и площадью в поисках какой-нибудь еды и вдруг срываются с мест, встревоженные прохожими. Зима пахнет бельем, которое дубеет на морозе, она приходит серой куницей и размазывает своим хвостом все цвета, вытирая их до полутонов, и, растревоженная, скрывается в темноте. Морозный

воздух сковывает запахи, словно тонкий слой льда, образовавшийся за ночь на Серете, но только до середины реки. Рыбе есть чем дышать. Зимой морозный воздух пахнет, как в аптеке лекарства, а белые деревья и дома — городские фармацевты моей памяти.

Все расплывается, как тушь на промокашке.

Город, заполняя себя собой, возвышается над временем и сам становится временем, то есть словом.

Вероятно, расстояние во времени и в пространстве от города этой истории заставляет меня всматриваться в незначительные детали, и я замечаю: не только разные архитектурные стили — от классических построек времен Австро-Венгрии до панельных пятиэтажек соцарта — схвачены одним мгновением, легким нажимом спуска фотоаппарата, но и отсутствующие на снимках жители города, которые как будто только что вышли из своих домов, но которых не сможет ухватить и проявить никакой фотограф, домысливаются мной, заполняя этот городской пейзаж собой и своими голосами.

Я обязан их вызвать, потому что без них моя история не стоит и ломаного гроша.

Это постоянное возвращение в места, которым ты обязан и которым, в конце концов, ничего не можешь дать, кроме своей памяти о них, искушает тебя перемешать жанры и воспоминания, переписать отрывки предложений в один, каким-то образом связанный текст, подобно проходу в неведомом направлении по одной улице города, минуя боковые, с верой в то, что именно это и есть твой путь.

Первым городом в жизни, который я увидел, был Чортков. Значительно позднее я выяснил, что там я и родился, и еще позже, уже в Нью-Йорке, мне захотелось вернуться в Чертков. Однако возвращение в моем случае, когда перед тобой Атлантика и целая Европа, возможно, и не предполагает твоего физического присутствия, что, в свою очередь, облегчает процесс вглядывания и затрудняет запоминание запахов предметов.

Несмотря на все чувства к этому городу, в котором часто бывал, родным его не считаю. Более или менее ориентируюсь в его центральных улицах. Помню, что в костеле в 1970-е годы распола-

гался какой-то склад. Помню какие-то магазинчики, рынок с его старыми постройками. Хорошо помню дорогу на вокзал, ибо часто ездил поездами к деду и бабке, еще учась в школе или будучи студентом.

Война не разрушила Чортков, и некоторые старые здания, времен Польши и Австрии, в центре города сохранились. Присутствие XIX века в архитектуре свидетельствует о подлинности города, однако холмистый рельеф Чорткова не способствовал классическому местоположению ратуши и квадратной форме его центра, от которого расходились бы к окраинам все улицы. В Чорткове извивающиеся улицы и резкие перепады по их высоте как будто уравнивают старинные постройки возле Доминиканского костела, которые простираются выводками двух- и трехэтажных домов вдаль и вверх, сохраняя блеск австрийской и польской брусчатки, впоследствии покрытой гусиной кожей советского асфальта.

Исторические топосы Черткова и прежде всего этнические и религиозные: украинская жизнь в Чорткове вплоть до 1939 года, то ли чертковские евреи, то ли чертковские поляки, — все это, казалось, было закатано катком советской ремонтно-дорожной бригады, трамбовавшим асфальт, который, надо сказать, долго не сохранялся и периодически перекалывался.

История, без сомнения, важна для Чорткова.

Без истории вообще нет города.

В Википедии написано, что в 1931 году из 19000 жителей Чорткова 22,8 процента составляли украинцы, 46,4 процента — поляки, 30 процентов — евреи. Синагога раби Шапиро и синагога раби Фридмана, старые названия улиц, воспоминания Флоренс Мейер Либлич — это все, что осталось от евреев. Из известных жителей — прежде всего, евреи Шлемке Горовиц, раввин Никольберга, Пинхас Горовиц, раввин Франкфурта, Карл Эмиль Француз, немецкий писатель. Ли Страсберг, еврейское местечко, а во время войны еврейское гетто, в котором было около пятисот человек, вывезенных впоследствии в лагерь смерти Белжец. Также известная в Чорткове династия хасидов, основанная Давидом Моше Фридманом. Проходя мимо магазина Фридмана в Бруклине, думаю, что они из Чорткова. Когда-нибудь спрошу...

Моя новая знакомая из городка Нью-Рашель миссис Кригель. Ей восемьдесят лет. В ее магазине на одной из центральных улиц этого поселения недалеко от Нью-Йорка мы разговариваем с ней о Чорткове. Уже несколько десятилетий она продает там разнообразные шторы, посуду, занавески и другие товары. На ее столе — иголки, нитки, шпульки, две швейные машинки. Иногда покупатели хотят подогнать занавески под размеры своих окон и полок. Она говорит со мной по-украински, читает на память Лесю Украинку и углубляется в воспоминания. Вместе мы возвращаемся в Чортков 1940-х годов, заходим в гетто. Собственно, заходит только она, ибо то не мое время и мне туда нельзя. Ее влажные глаза, едва дрожащие губы, седые волосы Рахили и благородное лицо, сохранившее легкую печать былой красоты, рассказывают мне про Чертков, ее и мой город, наш общий город, хотя и разделенный между нами годами.

Вне зависимости от наговоров и стереотипов, которые сегодня существуют между украинцами и евреями, мне кажется, что я говорю с деревенской женщиной, потому что ее язык настолько пропитан местным украинским выговором, что иногда кажется — я разговариваю со своей оказавшейся в Нью-Рашели бабушкой, которая рассказывает мне истории из своей жизни, уложенные в ее памяти.

Однако напротив меня глаза Рахили.

Иногда она путает языки и говорит по-польски или вставляет английские слова, иногда ее влажный взгляд и красные прожилки в глазах, становятся сухими, иногда ее слова непонятны...

Чортков советских времен превратился в типичный райцентр, хотя и не совсем, потому что войсковые части, преимущественно авиационные, были одним из форпостов Прикарпатского военного округа. Именно военные изменили структуру города, поскольку советские летчики приезжали отовсюду и представляли все национальности многонационального Советского Союза, как и солдаты срочной службы.

В городе появлялись военторги, военные столовые, воинские части, которые строили жилье для военных. В эту сферу деятельности были включены и местные жители, но не все. То ли чьи-то родственники, во-первых, находились на «оккупированной тер-

ритории во время Великой Отечественной войны», во-вторых — все подозревались в симпатии к националистам (ненапрасно в 1973 году в городе были вывешены желто-синие флаги, и город оцепенел), кроме того местные жители, через одного, имели родственников за границей. Поэтому для них, местных, построили ремонтный завод, кондитерскую фабрику, АТП, а особо проверенным разрешалось работать в военной инфраструктуре.

После войны время было наполнено страхом и запахом смерти. Украинское подполье, партизанщина, гарнизоны, НКВД, смерть и предательство — это было время хаотичной войны без какой-либо линии фронта, которая приближалась и отступала между днем и ночью, между своими и завоевателями, дележом, утратами, подозрениями, смертями.

Прибывали первые переселенцы из Надсянщины и Лемковщины. Целые села и семьи попадали в иное измерение, изменяя столетний уклад жизни. Возвращались остарбайтеры и те, кто попал в Советскую оккупационную зону. Возвращались воины Советской Армии, которых забрали на службу в 1944 году и завезли, как в случае с моим дедом, в Самарканд, а оттуда бросили на фронт в район Кенигсберга.

Скорее всего, все они были обречены: переселенцы — вызывать подозрение у Советской власти за неприятие ее, поскольку та разрушила уклад их жизни, а остарбайтеры подозревались той же Советской властью в сотрудничестве с немцами, воины Красной Армии — в недостаточной лояльности к власти, — а в недостаточном патриотизме могло обвинять всех и все украинское подполье. Местные жители становились заложниками всех. Все ходили рядом: москали с бандеровцами, колхозники с частнохозяйственниками, смерть с жизнью, предательство с честностью. Нужно было выбирать, но особого выбора не было.

Совсем недавно я прочитал протокол допроса тогдашнего председателя сельсовета села Базар. Допрос производился в феврале 1948 года. Тот, кто допрашивал, спрятался за цифрами 20–3. В конце допроса он оставил довольно интересный комментарий, относящийся к личности допрашиваемого, проявляя свой дар психолога, излавливая допрашиваемого на неточностях, извращениях, в конце концов, на явной игре на обе стороны. Человек,

которого допрашивали, хотел таким образом пережить хаос и выжить.

Можно только представить, что в каком-то бункере сидят двое: допрашивающий и допрашиваемый. У обоих мало времени. У одного потому, что нужно узнать об информаторах и сотрудниках НКВД, а у другого времени еще меньше, поскольку если он не переубедит оппонента в невинности или, по крайней мере, в том, что вынужден был поступить так под принуждением, то его ждет расстрел.

Оба знают, что что-то неизбежное ждет обоих.

Поскольку евреи пропали во время войны, а поляков вывезли в Польшу после войны, то национальная политика торжествовала полным ходом. Достаточно сказать, что всех приезжих местные называли москалями, старшее поколение не могло освоить русский язык. Хорошо его знали лишь те, кому довелось отмотать срок в сибирских лагерях, но не всем из них было разрешено вернуться на родину, и не все смогли.

Теперь, просматривая фотографии Чорткова начала века, которые размещены в интернете, нахожу в них какой-то особенный свет истории XX века, ее трагизм, этническое противостояние, мифы и стереотипы украинцев и поляков против евреев, украинцев против поляков, поляков против украинцев, евреев против украинцев и поляков. Раздел коллективной памяти поколений этносов был и религиозным, и политическим, и этническим, без особенного желания сторон узнать одна другую. Каждая сторона чувствовала себя обиженной, считала свои аргументы наиболее значимыми, потому и Чортков, как и другие галицкие города, был многонациональным и многокультурным, однако сферы тех культур не всегда пересекались.

Город Бучач двадцатого столетия описан Шмуэлем Агноном, а Дрогобыч — Бруно Шульцем. Хотя сказать «описан» будет достаточно упрощенным вариантом, ибо ни Агнон, ни Шульц своих городов не описывали, они их творили заново, потому что реальный город и город в их воображении, город их художественного текста — это разные города.

Чортков был типичным галицким городом для Польши и типичным райцентром для Советского Союза.

В бывшей синагоге Советы открыли Дом пионеров. Тогда же Чертков превратился в город военных, так как там был построен аэродром и расквартированы армейские, в основном авиационные, части. Поэтому в 70–80-е годы военные реактивные самолеты часто летали над головами советских колхозников и демонстрировали им, что советская власть крепка и боеспособна.

Более всего я останавливался в Черткове и его окрестностях во время съемок фильма «Вишневые ночи», где довелось сыграть небольшую эпизодическую роль ястребка Романа. Роль была со словами, что мне очень нравилось. После двух месяцев пребывания на съемочной площадке я появился на экране на две минуты лишь в трех эпизодах, но со словами и даже со стрельбой из карабина.

Съемочная группа жила в центральной гостинице Черткова: справа — райком, прямо — памятник Ленину, слева — универмаг.

За окном — 1991 год. Страну лихорадило, но кинокомпания «Рось» каким-то образом воплощала свой проект в жизнь. Получив записку от ассистента режиссера Лидии Чупис, я приехал на съемку. Участие же мое в фильме было оговорено с режиссером Аркадием Микульским значительно раньше — примерно за полгода до съемок в Тернополе.

В первый же день пребывания в Черткове, примерив свой актерский костюм — клетчатую куртку, широкие, коричневые штаны в белую полосу и черные, неудобные ботинки, те, в которых придется играть ястребка Романа, — получив комнату в гостинице, пройдя различные процедуры у директора фильма, связанные с финансами и графиком съемок, закрылся в комнате и уснул.

Эта роль для меня, помимо кинематографического дебюта, была еще связана с семейной историей самого молодого бабкиного брата Феди. Старший бабкин брат погиб под Варшавой в 1944 году солдатом штрафного батальона. В штрафники он попал после ареста за нанесение вреда Советской власти в 1940 году, когда был каким-то начальником в только что организованном колхозе. Бабкину родню записали туда как представителей наи-

беднейшего крестьянства. Василь Погребной, кажется, не был женат. Я еще помню его выцветшую фотографию, единственную в нашем семейном альбоме, хотя бабка твердила, что во время войны к нам приезжал какой-то офицер и привез ее матери, Юлии Погребной, моей прабабке, разные бумаги и военные награды сына. В итоге это помогло прабабке добавить к ее мизерной пенсии еще и военную за сына.

Младший брат моей бабки Анны Погребной — Федор Погребной.

К сожалению, я не помню ни одной его фотографии. Я их просто нигде никогда не находил. Знаю его портрет по описанию бабки — высокий, чернявый, на лице родинка. Когда вдруг советская власть пришла в Базар, ему было лет 15 или 16. Для его поколения было три дороги: в украинские партизаны, в ястребки или на шахты Донбасса.

На семейном совете, который состоял из двух прабабкиных братьев Романа и Василя Червоняков и прабабки, решили, что наилучшим способом уберечь юношу от грозящих отовсюду неприятностей, будет оставить его дома. Собственно, это решение его и сгубило. Большинство его ровесников, которые с великой неохотой поехали на Донбасс, в конце концов вернулись, а те, которые остались там, тоже остались живыми. Федор же погиб и, кстати, при невыясненных обстоятельствах. Став ястребком, Федор получил карабин без затвора, но, по словам бабки, очень к нему привязался. Мог ли он осознавать всю опасность своего ястребкового участия в войне без видимой линии фронта. Вряд ли, если ту опасность не смогли предвидеть даже его мать и дядья. Как-то он прибежал в дом с карабином и сказал, что его группа из трех человек имеет какое-то спецзадание и через день-два они вернуться. Это был последний раз, когда моя бабка с ним виделась. Группа пошла на хутор у села Поливцы. По бабкиной версии кто-то из них, может и Федор, увидев пасеку, решили попробовать мед и, зайдя в дом, наткнулись на повстанцев. Понятно, что живыми их уже оттуда не выпустили. Кто-то из ястребков мог узнать кого-то из повстанцев или впоследствии мог указать на их тайники. Любые версии могут быть обоснованными.

Несколько дней кряду прабабка и бабка ходили полями и искали тело Федора, видели убитых и, борясь со страхом, искали его

среди мертвых. Так сначала проходили дни, потом годы и десятилетия. Федор с каждым годом становился семейной легендой. О нем мы всегда говорили по выходным и по праздникам, особенно когда приходили бабкины дядя Роман и Василь, которые чувствовали и свою вину за долю Федора, хотя уберечь его вряд ли было возможно.

О бабкином брате Василии все, по крайней мере, знали, что он погиб на войне и покоится в братской могиле где-то возле польского села Студзяна под Варшавой, а Федор, можно сказать, пропал без вести.

Я докопался до протокола допроса председателя Базарского сельсовета Дмитрия Микуляка, который, возможно, был уничтожен в 1948-м как вероятный информатор НКВД.

Этот протокол опубликован в летописи УПА. В нем Микуляк достаточно детально излагает хронику событий в период 1944–1948 годов. Никакого упоминания о ястребках я там не нашел. Есть много чего, что проливает свет на те события, но про нашего Федора нет ничего. Те, кто его уничтожил, могли и сами на следующий день попасть в засаду или сгинуть в бункере, или, заподозренные своими, быть ликвидированными. Ничего не известно.

Тогда, примеряя клетчатую куртку, штаны и башмаки ястребка Романа и беря в руки карабин, которым я по сценарию должен был отстреливаться в ночном бою, я стал на экране Федором, шестнадцатилетним братом моей бабки Анны, расстреляв в ночь весь выделенный мне пиротехником запас пуль.

Затвор в моем карабине был настоящий.

Вместе с другими непрофессиональными актерами Витей Фесковым и Матеем мы завалились в ресторан, чтобы отметить свой кинематографический дебют. По правде говоря, Витя и Матей обладали большим опытом съемок в кино — Витя как автор любительских короткометражных фильмов и руководитель школьной киностудии, Матей же должен был быть продюсером нашего с ним фильма о передвижном театре, к которому я совместно с ним писал сценарий. Было уже выбрано место для съемок, подобраны актеры из местных жителей и учащихся школы, где он преподавал русскую филологию, однако что-то сломалось, и оказалось, что к тому времени я утратил всякий интерес к этой идее.

У меня, в отличие от них, были свои кинематографические амбиции, которые укладывались в большую «Энциклопедию кино», которую я купил еще в середине восьмидесятых в Симферополе, (где мы втроем путешествовали по южному берегу Крыма со всеми приключениями, характерными для таких, как мы, молодых), раскрыв книжку на букву «Т» и попав на имя Андрея Тарковского, без колебаний заплатил двадцать пять рублей и возил тот огромный том по всему Крыму.

Энциклопедия информировала не только про советское кино, но и про мировое, которое меня интересовало больше.

Собственно, с этим багажом мы и прибыли в Чортков на съемки «Вишневых ночей».

Через всякое барахло, которое нам разрешала смотреть советская цензура, все-таки просачивалось и хорошее западное кино. Так или иначе, имена актеров Збигнева Цибульского, Даниеля Ольбрыхского, Джини Лолобриджиды, Марчелло Мastroяни были известны, а имена итальянских режиссеров читались и запоминались, как стихи — Антониони, Феллини, Пазолини — и рифмовались с кадрами из фильмов. Кадры из их фильмов композиционно запоминались, как полотна средневековых мастеров или модернистов: расположение фигур, лица, одежда, здания, спуски, цвета, соотношение черного и белого. Таким источником информации была купленная в Крыму «Энциклопедия». Где еще я мог смотреть закрытые сеансы зарубежного кино или фестивальных премьер. Видимо, дольше всего я разглядывал в «Энциклопедии» кадр из кинофильма Пазолини «Евангелие от Матфея», где на горе Иисус, его ученики и народ. Значительно позднее я все-таки увидел этот фильм, известный еще и тем, что на роль Христа приглашали Евгения Евтушенко, что интриговало еще больше.

Развал Советского Союза ощущался даже в районном ресторане: нехватка продуктов и спиртного была очевидной, бутылка водки стоила уже 25 рублей, а остальное не очень уже и помнится.

За столами еще сидели советские офицеры, преимущественно летчики с голубыми петлицами или с черными — офицеры-связисты, местные девицы и «дельцы».

Утром съемочная группа уезжала в Улашковцы. По плану там снимался эпизод с участием Костя Петровича Степанкова, которого привез на съемки двухметрового роста старшина ГАИ. Чувствовалось, что в дороге они приняли на грешную душу, и сцена не выходила. Степанков забывал текст, режиссер нервничал. Потом задождило — и вся кавалькада киноавтомобилей тихо двинулась по направлению к Чорткову.

В каком-то селе снимался ночной бой. Мы прибыли вовремя и выстроились возле автомашины с оружием, каждый в руках со своим ружьем и небольшим количеством патронов. Пока режиссер с оператором устанавливали, что и как будут снимать, мы спокойно обменивали патроны на яблоки у крутившихся возле нас местных пацанов.

Уже в Тернополе, в гостинице, я навестил как доброго знакомого Костя Петровича. У него тогда болел зуб, и он не был расположен для беседы, но дал деньги, чтобы сбежать в ресторан за бутылкой. Я тут же сбежал, и мы начали лечить его зуб. Меня интересовал Параджанов, и Степанков о нем рассказывал.

Где-то посередине съемочного процесса, глубокой осенью, режиссер решил на какое-то время отпустить съемочную группу домой. Преимущественно это были киевляне, и они с утра выехали в Тернополь, чтобы оттуда добраться до Киева. Режиссер Аркадий Микульский, оператор Сашко Мазепа и ассистент по актерам Лидия Чупис в Киев не поехали — у них были какие-то дела в Чорткове, где остался и я.

На черной «Волге» режиссера мы поехали в село Базар. При въезде Микульский сказал водителю посигналить в мою честь, чтобы село узнало о том, кто его сегодня навещает, однако это лишь спугнуло переходивших дорогу гусей.

Стояла влажная осень.

Пастбища над Джуриной поблекли.

Посадка, которая тянулась вдоль дороги, наполовину сбросила листья.

Кирпичный завод уже отработал свой сезон, и только сторож со своим полуслепым старым псом сидел на лестницах домика, в котором ночевал летом и зимой, и курил.

Собирались по домам пастухи.

Туман из-за реки и дым сжигаемых листьев висели в воздухе.

Лида принялась делать ужин. Микульский и Мазепа разглядывали семейные снимки на стенах и расспрашивали меня, кто есть кто.

Дверь скрипнула. Вошел сосед.

У него было какое-то дело.

Я уже писал, что никогда не считал Чортков, где в 60-е годы моя мама родила меня в местном родильном доме, своим городом. Свидетельство о рождении выписывалось деловодом базарского сельсовета старым Тивоняком, который дожил почти до 90 лет и умер одиноким, сломав ногу. Возможно, все записи о новорожденных в 50–70-х годах были сделаны им, тогдашним секретарем сельсовета. Его четкий почерк и написание некоторых букв, особенно «к», свидетельствовали о том, что он ходил в польскую школу.

В детстве я плохо ел, поэтому моя бабка пыталась с этим бороться.

Как-то она договорилась со своей двоюродной сестрой Михайлиной, которая жила в Чорткове, чтобы меня обследовали знакомые врачи и выписали что-нибудь для аппетита. Михайлина была одной из бабкиных сестер по дяде Василию. Она работала в райсобесе, снимала однокомнатную квартиру в центре города и воспитывала своего племянника Сашку, которого забрала от младшей сестры из Казахстана. Ту далекую казахстанскую сестру я видел на фотографии с аккордеоном. Вроде ей в Казахстане было не очень хорошо. Сашку бабка называла байстриюком. Он был хорошо сложенным мальчиком, на несколько лет старше меня, и носил очки, дужки которых были прикреплены веревкой. Он отличался необыкновенной разухабистостью. Помню, на праздник Покрова он раздобыл так называемую цыганскую иглу и проткнул ею колесо трактора, на котором кто-то приехал к соседу. Когда сосед и его гость вышли на подпитии из избы, спущенное колесо, понуро смотрело на тракториста.

Михайлина не нравилась мне потому, что все на свете знала и поучала меня и бабку. У нее был голос городской панночки

и над верхней губой пробивались усики. После посещения Михайлины мы с бабкой пошли к доктору, которого она нам посоветовала. Докторша не придумала ничего лучше, как прописать мне рыбий жир и полынь. Рыбий жир мы купили в аптеке и, уже совсем не имея времени, поехали на автобусную станцию. По дороге бабка жаловалась на то, что ей некого будет показывать маме, раз я так плохо ем, и говорила, что если я не буду пить рыбий жир, то она даст мне полынь, а что это за горечь, мне придется еще узнать...

У Михайлины мы бывали не часто, лишь по поводу рыбьего жира.

Мне больше нравилось навещать бабкину родню по праздникам. Как правило, в начале осени мы выбирались вчетвером — дед, бабка, дядя Федя (брат моей матери, имя которому дали в честь погибшего) и я — в соседнее село Палашовку, по местному Павшовка. Там родилась бабкина мать Юлия Погребная, которая вышла замуж за вдовца Онуфрия Погребного, у которого было уже двое детей. С ней он нажил еще троих — Василия, Анну и Федора. Их брак длился не слишком долго, ибо Онуфрий начал пить и в конце концов очутился в той же Павшовке у своей старшей дочери от первого брака. Там, кажется, и умер, там и похоронен. Прабабка с тремя малыми детьми осталась одна, занимаясь небольшим огородом возле дома и имея еще небольшое поле, которое ей досталось в качестве подарка от родителей. Так что жилось ей не легко. Бабка рассказывала, что ее мать, возвращаясь летом поздно с работы, собирала сонных детей и кормила тем, что удавалось спрятать во время обеда у хозяина.

У нее были два брата Роман и Василь и сестра Параска. Все жили в Павшовке один возле другого...

Праздник в Павшовке был 28 сентября, как говорили, на первую мать Божью. Конец сентября еще был теплым, Идти до Павшовки нужно было мимо кирпичного завода. Я шел за руку с бабкой позади деда, который постоянно закашливался и останавливался передохнуть. Федор, почти не выпуская дым, курил всю дорогу любимую львовскую «Верховину».

Сперва заходили к дяде Василию, которого дед называл «полетариятом» за его демократизм и широкую душу. Его жена тогда болела рассеянным склерозом, и все хозяйство вела самая младшая

дядина дочка Вера с мужем, которого все называли москалем, хотя он был с Винничины и, как позже выяснилось, беспросветным пьяницей. У Веры с москалем было двое сыновей. Старший — не очень удачный, а младший — живой и нормальный парень. Они оба мне нравились. После гостей дядя Василий всегда нас чем-то радовал. Часто в порванной сумке бабка несла молодого кролика, белого или серого. Серые мне нравились больше, потому что у белых были красные глаза и розовые носы. Дома дед мастерил для кролика отдельную клетку, а мне вменялось его кормить. Это длилось несколько недель, потом я утрачивал интерес.

Из гостей возвращались пешком.

Сумерки накрывали речку Джуринку, кирпичный завод, и только холмы села Базар кое-где светились слабым светом, потому что в эту осеннюю пору часто опускался легкий туман. Федор, как правило, напивался, и дед, тоже в подпитии, вел с ним разъяснительную работу. Бабка несла в сумке кролика и расспрашивала меня, буду ли я за ним смотреть. Я отвечал утвердительно, но она мне не верила, и я сам себе не верил.

Как-то осенью я страшно простудился. Не помогала ни медсестра, ни уколы, которых я больше всего боялся. Кашель был сухим, и бабку беспокоило то, что у меня может случиться астма. Кто-то посоветовал ей привести меня поутру, еще до прихода работников, на ферму, в хлев, где и дать мне возможность подышать час овечьими испарениями и повторить это несколько раз. После этого должно полегчать. Еще советовали смазать грудь жиром только что пойманного и убитого пса, от чего бабка наотрез отказалась, ибо пес — творение божье. Я также обрадовался оттого, что не буду, как старик Якимец, есть псиное сало и пахнуть псом. В голове вертелось и то, что кто-то ведь должен был его убить и чей это будет пес.

Почти всю неделю мы вставали до рассвета, около трех часов утра. Бабка разжигала печь и грела чай. Свет она не включала. Поэтому, подбрасывая уголь и дрова в печь, она открывала дверцы и позволяла языкам пламени увеличиваться и прыгать по стенам, а потом снова загоняла их в печь. Стояла поздняя осень с дождями, холодными ветрами, болотом, однако по утрам легкий морозец сковывал грунт, на дороге были видны следы колес грузовиков и тракторов, а утратившая свой цвет и запах патока



с мерзлой конской мочой и навозом обозначали путь, которым прошедшим днем возили корм колхозным коровам и лошадям. Мы действительно приходили задолго до первых рабочих фермы. Бабка предварительно обо всем договорилась с далеким родственником, который оставлял для нас в условленном месте ключ. В хлеву было несколько сотен овец.

При входе вовнутрь первое, что ударяло, был затхлый овечий воздух, пропитанный запахом соломы, мочи и помета. Овцы были отгорожены одна от другой досками. Там и тут встречались молодые овечки, которых я видел на церковных мозаиках, правда, от церковных они отличались тем, что к шерсти их задних ног были прицеплены их какашки, напоминавшие шоколадные горошины.

Бабка усаживала меня на доску, и я должен был вдыхать овечий воздух и овечий смрад.

Почти недельная терапия дала свои результаты — я начал лучше откашливаться, и мы перестали ходить туда по утрам.

Чортков для меня поделен на три часовых измерения: австрийское, польское, советское — и на несколько важных топографических точек: железнодорожный вокзал, автостанция, ратуша с часами и торговые ряды.

Австрийское в первую очередь связано с австрийскими башмаками. Сначала дед держал их на чердаке, по-местному — не вышке. Не знаю, откуда он их принес, вполне возможно, достал у кого-то в селе или купил на базаре в Чорткове или Бучаче. Они были грубыми, с коваными накладками на пятках и носках, с металлическими заклепками, тяжелые, ибо я их не мог поднять, рыжего цвета, в пыли. Они одиноко стояли в отдельно отведенном для них месте. Сначала дед хотел их носить сам, но они были тяжелыми и растирали в кровь ему ноги. Тогда он решил их продать.

Несколько покупателей приходили в будние дни, но, оглядев их, заверяли, что, может, и купят товар, но больше не появлялись. По воскресеньям, когда к нам приходили родственники, после нескольких рюмок самогона и угощения дед выносил башмаки, предварительно вытерев их своей большой рукой, и, расхваливая кожу и работу, предлагал их на продажу. Расхваливание начиналось с того, что это башмаки австрийского военного вре-

мен Первой мировой войны, и что счастливчик, который их купит (а не купить их может только дурак), никогда их не сносит, поскольку они вечные. Так философствовал дед. Этот бесконечный торг, а не желание потенциальных покупателей заплатить совсем смешную цену в 25 рублей, которую установил дед и от которой не отступался ни на шаг, утомлял его самого, и он не понимал, как можно пропустить такой товар. Но время шло, башмаки и дальше пылились в чулане и выносились для покупателей только по воскресеньям, что не помогало желанию деда от них избавиться.

Польский период — почему-то больше еврейский, несколько еврейских семейств в Базаре, несколько евреев-менял, которые ехали в села и обменивали обиходные домашние вещи на зерно, сахар и другие продукты. Это время также связано с эмиграцией в Северную и Южную Америку, а также с возвращением кое-кого оттуда с деньгами, американской одеждой, патефонами, пластинками и ощущением немеряного богатства.

Советский — с проникновением русского языка, райкомом и колхозами, огромными щитами с советскими лозунгами и портретами вождей. Собственно войсковые части напоминали всем про оккупацию, русский язык — про чужое присутствие, кондитерская фабрика подслащивала горькую советскую действительность, автобусный парк, как мог, сокращал расстояния большой родины, ремзавод, как мог, ремонтировал сельскохозяйственную технику для тружеников села, сельхозхимия, как могла, засыпала поля химикалиями.

Мое детство прервалось летом 1972 года, когда заболела моя бабка. Болезнь была продолжительной, и дед был вынужден часто ездить в Чортков, в больницу. Я ночевал у соседей и у родственников. В какой-то момент мне это начало нравиться: никто меня не опекал, никто не следил, ел я или нет. Целыми днями я бродил вдоль речки, или в садике Яворской, или на пригорке возле клуба.

Садик Яворской как раз соседствовал с нашим огородам. Как только я выбегал на тропинку возле сарая, я попадал на запретную территорию. Сад Яворской был местом местной дурноватой и страшной бабы, которая ходила от дома к дому и стягивала на свой двор всякий хлам, который прятала в доме или еще где-

то. Зимой она жила неизвестно где, а летом и осенью бродяжничала без какой-либо цели.

Возле дома все заросло травой, земля была влажной, здесь на самом деле ощущалась какое-то одиночество, запустение. Изредка Яворская навещалась в свой дом, в ее саду было полно детворы, которая играла в прятки или искала груши. В тот момент Яворская вспоминала, что она и есть владелица этого дома и сада, поднимала такой крик, что слюна брызгала из-за ее редких и гнилых зубов, бегала за нами, изгоняя нас со своего, поросшего лопухами, сорняками и кустами бузины, подворья. Потом быстро успокаивалась, садилась на пень трухлявого дерева и смотрела на нас, выглядывавших из всех углов в ожидании этой бесконечной игры.

Яворская, сидя на пне, покрикивала на нас, но уже не так агрессивно.

Яворская умрет где-то в конце 70-х. Несколько соседей похоронят ее. Последние месяцы своей жизни Яворская проведет среди семьи, которая о ней заботилась и которой она доверяла.

Потом сад выкорчевали для постройки нового дома, где Яворская уже никогда и ни с кем не будет ссориться.

Речушка нравилась мне в том месте, где я пробежал возле дома пьяницы Кухарского, который лежал на своем дворе в траве и что-то кричал мне вслед. Я прибавлял скорость, потому что боялся его. Мимо старой мельницы, вдоль к мостку, который ведет в Заводы, потом резко вправо, и попадаю в заросли.

Вечером приезжал дед и забирал меня домой.

Однажды он приехал особенно огорченный и сказал, что бабушку ожидает тяжелая операция.

Теплым летним вечером мы готовили себе ужин, вернее дед по-быстрому пожарил яичницу и принес с грядок несколько помидоров, большой огурец и зеленые перья лука. Нарезая овощи для салата, он рассказал, что по окончании войны их часть перебросили в Венгрию, на озеро Балатон, где он и заканчивал свою службу простым поваром.

Мне не очень нравится, что дед был в армии поваром, но яичница вкусная, салат тоже, а чай душистый.

Дед спрашивает: буду ли пить чай.

С полным ртом отвечаю: угу.

Наломав малиновых прутьев, дед кидает их в заварку.

Мы готовим чай на керогазе, и я помешиваю заварку малиновым прутиком, который дед приготовил для меня. Время от времени я вынимаю прутик, жду, пока он остынет, и тогда облизываю его. Кисло-малиновый прутик обжигает мне небо, но я терплю.

На следующий день, в воскресенье, мы собрались с дедом в Чортков. Как выяснилось, кое-какая одежда у меня была, но с обувкой вышла проблема: единственными на взгляд деда, то есть в чем можно было бы показаться в городе, были ботинки, зимние ботинки, которые я носил и в которых даже катался зимой на коньках, для чего в их каблуках были просверлены дыры. Дед почистил башмаки и оставил их ждать утра.

Утром надеваю сорочку, черные брюки и приготовленные с вечера ботинки.

Сквозь летний восход пробиваются лучи солнца.

Зеленовато-грязноватый свет освещает край неба.

Мы идем на автобусную станцию.

В автобусе я нашел рубль. Произошло это совершенно случайно: я нагнулся, чтобы поправить штанину, и увидел, что передо мной лежит рубль. Я тихо сказал об этом деду, ибо это сокровище могло принадлежать и дородной односельчанке в завязанном под подбородок пышном платке с большими розами. Дед пригнулся, кивнул мне, и я мигом схватил рубль и зажал его в ладони. Я представил себе, сколько килограммов леденцов или порций мороженого я смогу купить.

С такими сладкими мыслями мы въехали в Чортков и вышли возле магазина.

Перво-наперво я выцыганил у деда два стакана газированной воды с сиропом. Простая вода стоила одну копейку, а вода с сиропом — три. Второй стакан я с трудом и большими глотками допил. Газировка пощипывала горло и язык.

Тем июльским утром я был один в таких ботинках. Мои ровесники щеголяли в легких сандалиях. Я доверял деду, но даже он морщился, глядя на мои ботинки, которые жали, пахли черной ваксой и кирзой.

Больница находилась на пригорке, с которого было видно село Белое. Больные женщины, которых было немало в больничном дворе, были одеты в халаты.

Когда мы сидели в тени на скамейке и разговаривали с бабушкой, вернее, когда она выговаривала деду за мои ботинки и он вяло отбивался от ее обвинений, перед нами все время ходила взад-вперед какая-то беременная с огромным животом, потом она наваливалась и тяжело вбирала в себя воздух.

«Не может родить, бедная», — объясняла нам с дедом бабушка. Они продолжают свою перепалку, как будто бы бабушка не в больнице, а дома готовит завтрак или обед и одновременно дает свои важные поручения или комментирует философствования деда. Из всего я понимаю одно: бабушку ожидает сложная операция, а меня, возможно, переезд в Кривой Рог к маме и отчиму и моему младшему брату.

Возвращались мы с дедом последним рейсом. Не знаю, как получилось, но рубль я потерял. Потеря эта меня не очень волновала: беспокоило другое — поездка в Кривой Рог. Тогда я попрощался с детством.

В моем детстве при деде и бабушке неподалеку от нашего дома был пригорок, к которому вела натопанная тропинка: по ней ходили, по ней гнали скотину, по ней лихачи ездили на велосипедах. Нужна была определенная сноровка, чтобы с разгона влететь на тропинку и не промахнуться, не сорваться с нее.

В 20-е годы на том пригорке сельчанами был построена читальня, которая в конце 60-х превратилась в сельский клуб, где каждую неделю собиралось множество народу. Танцы тогда назывались забавой. Местный киномеханик неохотно уступал помещение любителям этой забавы, так как ему нужно было выполнять план. Под давлением он соглашался, но все должны были скинуться по рублю. Тогдашняя музыка — баян или аккордеон, бубен без ножного приспособления, какая-то труба, саксофон или цимбалы — в зависимости от того, кто из местных музыкантов играл. В зале расставляли длинные ряды деревянных кресел — и начиналось развлечение переливами голосов и басов баяна, дрожала кожа бубна и тонко пели нежные тарелки, соло трубы или саксофона. Пары кружили в вальсе, польке или фокстроте. В хорошую погоду окна раскрывались настежь, и музыка вырывалась наружу. У окон стояли преимущественно женщины солидного возраста, которые внимательно наблюдали, кто с кем

танцует, чтобы уже в понедельник, делясь впечатлениями, прикинуть, кто кого выбрал и кто с кем сойдется уже этой осенью. Не меньше шаталось там и местной детворы всех возрастов. Они то носились стайками, то стояли на веранде возле куривших старших парней и слушали всякие истории: кто-то вернулся из армии, кто-то осенью призывался, кто-то рассказывал про ловлю рыбы, кто-то про мотоциклы...

Когда музыканты объявляли перерыв, разгоряченные танцующие выходили на перекур. Девушки и женщины стояли под стеной или сидели на скамейках.

Где-то ближе к концу забавы кто-то влетал в середину клуба и начинал звать своего родственника. Ясно было, что возле клуба уже драка. Музыка останавливалась, и больше половины народа вываливалось наружу. Разогретых недавно распитым на галерке самогоном дерущихся обступал круг людей всех возрастов, разглядывая двух молодых парней в белых сорочках, которые еще какое-то время дрались, пока один из них тяжелым ударом не сваливал другого.

Победитель, остервенело покачиваясь, делает еще рывок в сторону побежденного, которого уже успели поднять и сорочка которого в крови и в траве.

Как-то холодным утром на пригорке собрались пятеро мальчишек.

Моросил дождь.

Ивасенко, у отца которого мой дед выкупил за двести рублей немецкий баян, выкопал ямку, другие примерили только что изготовленные палочки, и все приготовились к игре, которая называется кичка. Ивасенко — самый старший среди нас и наибольший сорвиголова нашей околицы, всегда в сопровождении нескольких пацанов, которые ему прислуживают. Для своего возраста он сильный и жестокий. Его шайка шныряет по всем местам, включая точку, где продают керосин. Он уже курит и хвастается тем, что его отец не раз видел его с сигаретой. В этот момент через пригорок переходит Яворская, местная придурочная, которая ходит по селу и разговаривает сама с собой, со всеми ссорится, особенно с детьми, которые постоянно дразнят ее. Издалека она похожа на цыганку, потому что

на ней несколько курток и юбок, которые ей кто-то, видимо, подарил. С Яворской мы соседи. Ее развалившийся дом и запущенный сад граничат с дедовыми. Ивасенко бросает взгляд в ее сторону, отбрасывает в сторону палку, которой только что копал ямку и показывает ей характерный непристойный жест, который мы себе позволить не могли. Яворская, приближаясь, рассылает проклятия: «А, черт бы тебя побрал!» — и замахивается на нас палкой. Все разбегаются в разные стороны. Но Ивасенко сплевывает в ее сторону и с какой-то недетской жестокостью поднимает свою палку и замахивается в ответ, что Яворскую сперва ошеломляет. Она на мгновение отступает, но, придя в себя, с новым озлоблением кричит и идет в наступление. Кто-то из взрослых прохожих кричит на нас — и мы прячемся за клубом. Ивасенко, подобрав несколько окурков, закуривает и предлагает нам. Кто-то соглашается, но сразу закашливается, чем отбивает охоту у других. Ивасенко учит, как заглушать запах табака, заедая полынью. Перекурив, Ивасенко снова предлагает начать игру кичку и сообщает, что та сумасшедшая уже ушла. Мы по одному выходим на пригорок и ищем наши палки. Ивасенко выкапывает ямку, выбирает из нее рукой землю.

В кичку играли так: в ямку ставилась палка, игрок выбрасывал ее оттуда своей палкой и в воздухе бил по ней изо всех сил. Выигрывал тот, кто забрасывал палку дальше всех.

В то утро игра началась как всегда. Пацаны подходили к ямке, выбрасывали из нее палку и били по ней. Палка со свистом летела по воздуху. Не все сразу попадали по палке, находящейся в воздухе. Тогда Ивасенко говорил: «Что, курва, не вышло?» или дразнился: «Скажи — яма», а ответ на сказанное был: «Твой папа на маме». Почему — мы уже тогда понимали. Из-за своего забора выбегает Иванко, ровесник Ивасенко, то есть старше нас на год-два, стоит поодаль. Ивасенко зовет его в круг, но тот отрицательно качает головой, просто он любит, чтобы его просили. Мы все знаем, что ему запрещают с нами играть. Его держат в узде и за непослушание могут заставить сидеть в курятнике или стоять в углу на кукурузе с поднятыми руками, в каждой из которых по учебнику, которые он никогда не читает. Руки его ослабевают, книжки выпадают, но отец дает ему ремнем по спине, и Иванко снова приходится поднимать руки. Его недавно определили

во вспомогательную школу, но он оттуда сбежал. Мы знаем, что он будет с нами играть в кичку до тех пор, пока его дед не заметит, что он освободился от веревки, которой его с утра привязали.

Ивасенко принимает Иванко в круг.

Иванко подходит к ямке, подбрасывает своей палкой палку для игры и сильным ударом отправляет ее далеко вперед. Мы измеряем, на сколько длин палок она отлетела — выходит, что на 45! Затем Ивасенко грациозно подбрасывает ту же палку и изо всех сил бьет по ней. Она тоже отлетает на большое расстояние, мы измеряем его — и выходит 38 палок. Ивасенко говорит: «Курва! Не может быть!» Мы перемериваем — все правильно. Все начинается сначала: Иванко подбрасывает и бьет, Ивасенко подбрасывает и бьет, Иванко подбрасывает и бьет, Ивасенко подбрасывает и бьет. Сколько ни перемеривали, выходило, что Иванко все-таки победил.

Иванко стоит и придурковато смеется.

Ивасенко подбегает к нему, какое-то мгновение с ненавистью смотрит на него, а потом бьет по лицу так, что у того появляется струйка крови и нижняя губа мгновенно вспухает. Мы отворачиваем глаза. Нам жалко Иванко, но мы боимся Ивасенко.

Иванко разворачивается, бросает свою палку и, подпрыгивая, убегает в направлении своего дома. Ивасенко смотрит на нас и, оправдываясь, говорит, что дурной Иванко бил по палке не так, как надо. Никто ему не возражает, но все знают, что это не так и что он просто боится нас потерять.

Первым уходит Мисько.

Остальные, и я в том числе, как сговорившись, расходимся в разные стороны.

Ивасенко громко, чтобы все слышали, говорит Мисько: «Ничего, еще вернется коза к возу».

Несколько лет тому назад мне довелось побывать в Чорткове. Можно было поехать по другой дороге и в Чортков не въезжать, но я настоял на своем.

Слева при въезде в город меня встретила автобусная станция — замечательное явление советской архитектуры. Кроме того, что прилегающую к ней площадь заасфальтировали, вроде ничего не изменилось: слегка подкрасили здание станции.

Вспоминаются слонявшиеся пассажиры, видимо, жители близлежащих сел, ПАЗики и заезженные микроавтобусы, как признак нового времени. Как водится, буфет и киоски с разным-всяким товаром, но никто ничего почему-то не покупает.

Далее — мутная, зеленоватая вода Серета и знакомая конструкция моста через реку с измененным транспарантом: когда-то «Слава КПСС!», а теперь что-то вроде «Чортков — жемчужина Украины». Еще дальше — современная церковь и австрийская часть города. Кое-где остатки мостовой, повсюду новые магазины, киоски, снуют хорошие и не очень иномарки, «Жигули», «Лады», «Москвичи» и «Запорожцы».

Вместо сельчанок в платках и мужиков в костюмах и шляпах или шапках, которые в свое время заполняли город, теперь — джинсомания в различных проявлениях, подстриженные почти «под ноль» подростки и разноцветье женских причесок во славу фирм, специализирующимся на производстве красок для волос.

Иногда мне кажется, что время, в котором пребывает мой Чортков, я сложил в бумажный кораблик из школьной тетради в клеточку и пустил по воде. Я всматриваюсь в воду, в которой отражаются дома, улицы, мосты, синагоги, церкви, костелы, по улицам ходят люди, слышны их голоса, но разобрать ничего нельзя.

Это какой-то дивный хор, в котором все перемешалось. Это огромный улей звуков, музыка, вариации которой сменяют темы и не повторяют одна другую и которую мне с каждым разом труднее запомнить. Из этих обрывков исторических эпох, обломков камней и могильных плит, голосов безысходности на идиш, украинских реалий, польского молчания, австрийских ботинок моего деда, игры в кичку, потерянного рубля, пригорка, Яворской и других подзабытых деталей складывается мой Чортков, а еще — из развода моих родителей, деда и бабки, замоченной буханки хлеба, посыпанного сахаром, и многого другого, из чего складывалось мое детство.

С пригорка расходится группа мальчишек, молча, без слов, чтобы никогда уже больше не встретиться...

*Перевод с украинского Эдуарда ХВИЛОВСКОГО*